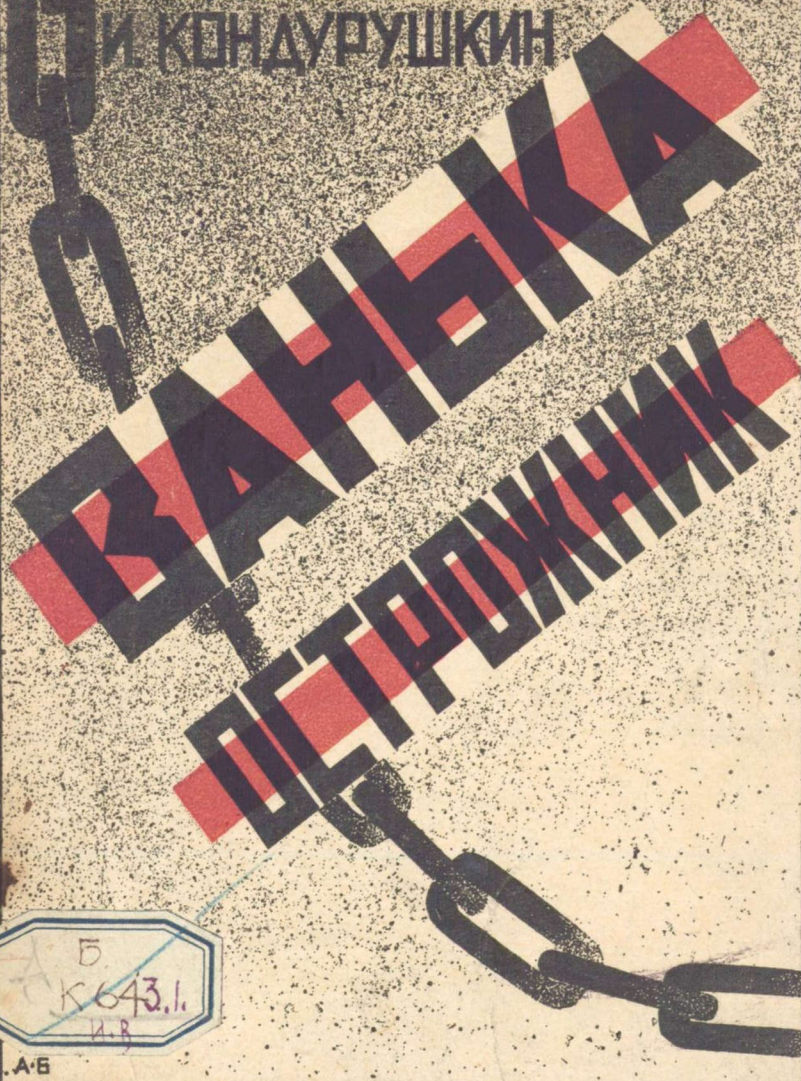
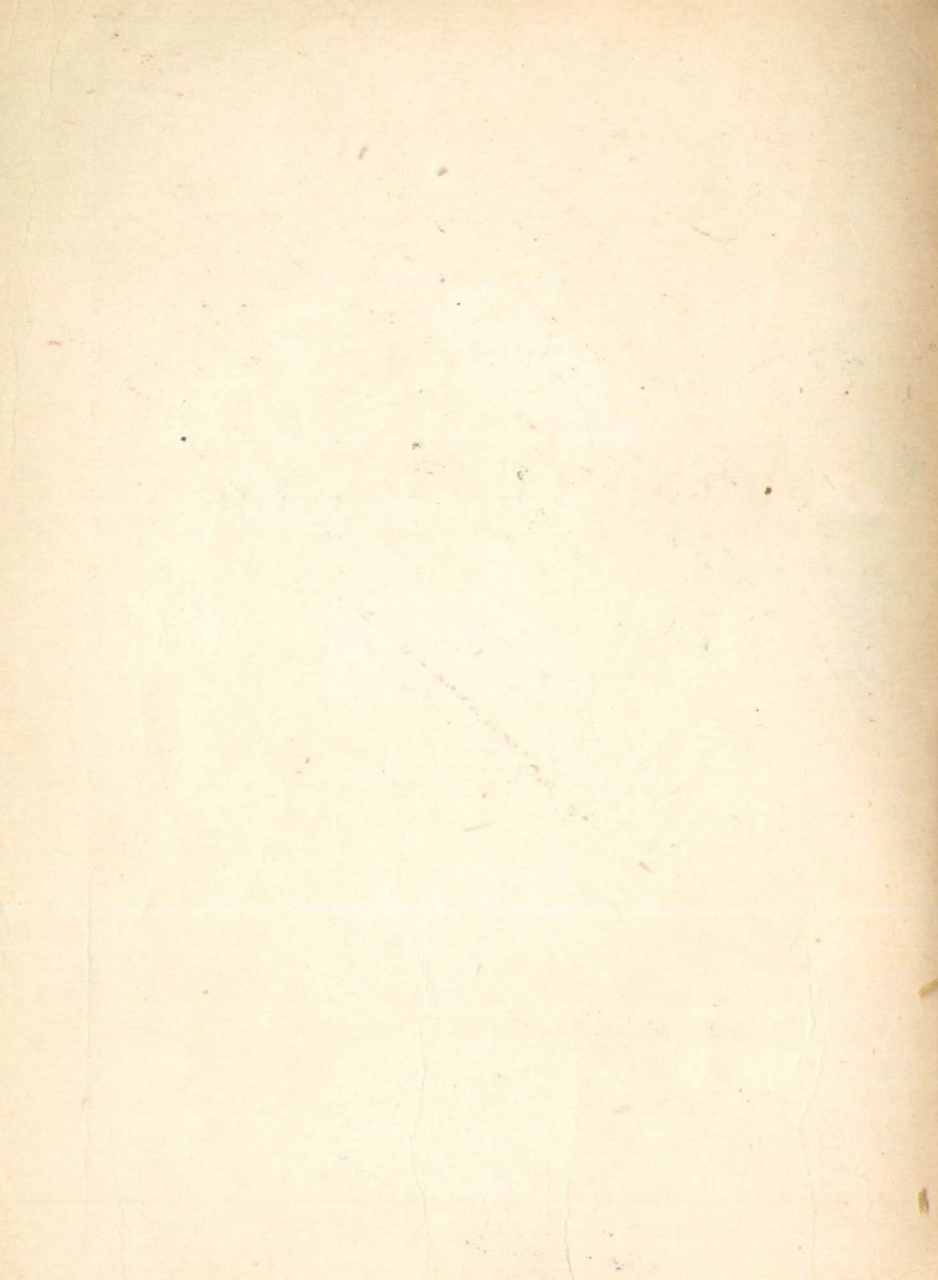


И. КОНДУРУШКИН



.А.Б





НА ДОМ
НЕ ВЫДАЕТСЯ

БИБЛИОТЕКА МОЛОДЕЖИ.

ИВАН КОНДУРУШКИН

К-642

1807/1
1927
ПРОБЛЕМЫ
ВАНЬКА ОСТРОЖНИК

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

Б
К.643.1.ч.в.
Д

МАЛОГ

ср и ст
19419

1957-58 г.

Отпечатано в типографии ф-ки
„Светоч“, Ленинград, Б. Пушкар-
ская, 18, в количестве 5.000 экз
Главлит № 43136. 5 л.
1926.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТЕЙ И КНИГ
ДЕТГИЗА



Первые годы Ваньки

• Дождь поливал соломенную крышу Михайлиной избы и сквозь золу, насыпанную на потолке, сочился красноватыми каплями на осклизший земляной пол. Злой осенний ветер, как разгневанный домовой, выл и плясал на дворе, стучал дрянными палочными воротами и ерзал по соломенной крыше.

В такое непогожее, неуютное время, в селе Растопыровке, у мужика Михайлы, по ненадобности, родился еще наследник.

Завернули новорожденного в старую материнскую юбку и понесли крестить. Икупал поп мальчишку в холодной воде, назвал Иваном. Крепко визжал Ванька и здорово брыкался, так что поп упустил его в купель и обозвал в сердцах чертенком. И стал с тех пор Ванька - чертенок гражданином села Растопыровки.

Первое время скверно жилось мальчугану, пока не привык он к незавидному земному существованию: то холод пробирал его, лохмотья в люльке; то голод донимал, когда мать долго не кормила

его, а сестренка пихала ему в рот грязную соску из кислого черного хлеба; то дым из печки разъедал глаза Ваньке. И Ванюшка плакал долго, жалобно, надрывчато. Подходила сестренка и, недовольная тем, что ее заставляют качать братишку, трясла люльку. Ванюшкина головенка стучалась о перекладины люльки, и он еще пуще ревел, а сестренка шлепала его с досады и совала в рот ржаную соску.

Так и рос Ванька, хлипкий, тоненький. Постоянно он вякал, ныл и хизнул.

На втором году Ванятка заболел от холода, от грязи, от ржаной соски.

Теперь уж он плакал круглые сутки; не давал спать ни матери, ни отцу.

Отец, проснувшись среди ночи от Ванькина крика, сердито ворчал и ругался. Только мать сердцем болела за него, но и она часто по ночам, наклонившись над люлькой сына, плакала и приговаривала:

— Умри, умри, сынок! Умри, умри, горюн!

А Ванюшка так и не умер, рос себе, да рос.

До двух лет Ванька ходить не мог. Выпустит его летом мать на двор, сядет он крепко, вытянет ноги и пойдет ими загребать, как веслами. Через всю улицу ползал сиднем. Долго потом мать чистит его и выбирает из зада занозы.

Случались иногда и несчастья: один раз с крыльца свалился Ванька и нос весь в смятку разлепешил, а другой раз чуть свинья не съела мальчугана. С тех пор его звали „свиными объедками“.

Встал, наконец, Ванька на свои ноги. Бойкий и озорной пострел рос из него, хоть попрежнему он был такой же тоненький да хизлый.

Никогда Ванька не посидит на месте. Как ни крикнет мать, все нет его дома. Только зима и загоняла на печь. А то все на дворе.

Был у Ванюшки там, на дворе, страшный недруг индюк-курун толстозобый. Ваньку он презирал и всегда норовил долбануть носом. Ванька страшно боялся его. Заберется, бывало, Ванька на поветь и дразнит оттуда куруна глиняной свистулькой. Разозлится курун, распыжится и залопочет что-то на непонятном куруньем языке. А Ваньке кажется, будто курун кричит, да быстро-быстро:

— Федор, забегай! Федор, забегай! Ты, Степан, по рылам, ты, Степан, по рылам!..

И жутко Ваньке и приятно, что разозлил врага, а тот ему сделать ничего не может.

Свадьба

Пришла осень, такая же, как и прежние: с дождями и с холодами — пятая для Ваньки.

Михайла, отец Ваньки, затеял свадьбу. Нужно было женить старшего сына. На свадьбу продали мяснику телушку да две овцы. Свадьба длилась с неделю. В хате Михайлы то и дело были гости. Приходили мужики и бабы, пели песни, плясали. На последний день пиროванья молодые пошли к отцу невесты. Молодые шли впереди и щелкали семечки; сзади шли, с пляской и песнями, родные. Время от времени останавливались и выпивали.

— Сват, сватушка! А ну-ка, за вино! Не прокисло ли оно? — потчевал один другого.

— Пей, чтобы курочки велись, а пирожки не расчинивались!

— Эх ты, лапти мои, д-лапоточки мои, кабы знал я про вас!.. Ух-ли! — приплясывал Михайла.

— Гуляй, Ванька, пушай люди завидуют. Гармошку сюда! Моя душа плясать хочет... Вась, Вась, сыграй — попляшу!

— А-ну! Эх, ну-д, подмахну! Кому хочется в рай, гармонщику дай! — наяривал гармонист.

— Запили тряпички, загуляли лоскутки! Сват, сват, али нам доли нет? Матвей, кум, давай поцелуемся!..—Сватья обнимались и валились оба на пыльную дорогу.

За все время свадьбы Ванька здорово отъелся.

Вволю было хлеба, вволю картошки, и жареной и вареной, а иногда перепадало и мясо.

И в первый раз Ванька напился пьян.

Отец привез боченок красного вина.

Ванька с сестрой приспособили соломинку через втулку, потягивают, губами причмокивают. И натянулись. Сестренка-то уплелась, а Ванька захрапел у боченка.

И долго же он потом почесывал зад от тяткиного шпандыря.

Свадьба все же была бедная: без певчих и в стареньких венцах, да и за это попу пришлось отвалить пятерку да бутылку водки.

Недолго длилось свадебное блаженство. Кончилась свадьба. Мука вся приедена. И есть еще хлебушка, да молоть негде: ветра нет. Поехал Михайла в Гусиновку, на водяную мельницу и поздно ночью вернулся чуть жив: вздулось все лицо, как яичница.

Слег Михайла.

И пошла тут на всю семью беда: простудились, должно, ребятишки, тоже свалились. Осталась Михевна одна в избе здоровая. Хоть разорвись. Ванька на печке кричит:

— Мам, папы (хлеба) дай, есть хочу.

Девчонка стонет, Михайла бредит и бормочет:

— Гля-кась, гляка-сь Михевна, окны-то горят!.. Неси меня, неси!.. Много ли? Много ли? Два года, два года!..

И Михайла вскакивает, хочет бежать и падает на земляной пол. Чуть не плачет Михевна.

Позвала, наконец, Михевна знахарку к Михайле. Взяла знахарка кружку воды, обошла трижды Михайлу, прочитала заговор:

— С гуся вода, с раба божья худоба, на густой лес, на большую воду.

Потом попоила Михайлу этой водой, окропила углы, стены и под печкой и ушла.

Долго провалялся Михайла, высох в сухарь, пожелтел, как сушеное яблоко, и наконец стал поправляться. Только ребятишки долго еще не могли на ноги стать. В избе грязь, холод, дым, вонь да теснота. В углу поросенок, за печкой теленок, под печкой куры. Лошадь нужно кормить, — в избу, а то месиво замерзнет. Введет Михевна в избу корову подоить, а больные ребятишки кричат:

— Мамка-а, холодно!

III

Великий пост

Хизли, хизли ребятишки, однако поднялись. Долго после болезни мать не выпускала их на улицу, куда они сильно рвались. Хныкал и Ванька, тоже на улицу просился, да прикрикнет на него мать, даст леща по затылку, и замолчит мальчишка.

А все-таки раз не утерпел. Только мать утром из дома за водой, — стрельнул Ванька на улицу, как окунь в реку. С улицы его давно уже подманивал товарищ Кузька. Сделал тому отец деревянную обмороженную змейку, и летала Кузькина змейка через всю улицу по гладкому снегу.

Зима — к концу, прошла и масляница. Заговелись на хрен, на редьку, да на кислый квас. Пошли в чести простые щи с зеленой капустой.

Наварит Михевна кулаги полведерный горшок, поставит целиком на стол, и облепят горшок ребята, как мухи; с головой туда улезут. Великий пост всем кажется таким длинным, словно никогда и конца ему не будет. Ходить некуда, делать нечего. С утра только и слышно — звонят, душу нудят: д-о-о-о-он-н... д-о-о-о-он-н... Словно занозу из

ноги тянут. По праздникам на улицах тихо: нет ни хороводов, ни песни. Только за селом, на реке ребята устроили катанье: расчистили лед, вморозили деревянный кол, на кол насадили старое колесо, к колесу длинную оглоблю по земле привязали, а к оглобле обмороженный остов от ручного сита — „лебянку“. Вертят колесо на колу воткнутыми между спиц длинными палками двое или трое, и летает лебянка по кругу с такой быстротой, что только следить глазами успевай. Кто ни сядет на лебянку — не удержится, комом отлетит в сторону на втором или третьем обороте. На все село крик и шум на кругу, и Ванька до вечера торчит там, не чувствуя холода и ветра.

На первой неделе мать водила Ванюшку в церковь слушать анафему.

На амвон выходил пьяница-дьякон и заводил страшным, хриплым басом:

— Отрицающим бытие божие
ана-а-афема!

Жуть брала Ваньку, холодная струйка пробежала меж лопаток.

А на хорах, под куполом певчие подхватывали:

— Ана-а-афема!

Ана-а-афема!

А-на-фе-ма!

Ванька в страхе схватывал мамкину руку и тарашил глаза наверх. Ему чудился этот анафема, куда страшнее Саваофа, сильнее всех, всех, рыжая борода лопатой, буркалы — во, и сам выше колокольни, ходит по земле и орет, как дьякон:

„Вот я — ана-а-а-фема!“

— Мамка, боюсь, боюсь, айда домой, — шепчет мальчик и дрожит всем телом.

Не любил Ванька великопостной службы, особенно говенья.

И так ему становилось скучно, до слез, и тоскливо, когда поп, в черном балахоне, выходил на амвон и нудно тянул:

„Господи, владыко живота моего“, — и все стоящие, как трава от ветра, валились вниз лицом на холодный пол.

Только и удовольствия, что в это время ущипнуть за зад Кольку вихрастого, что всегда залезал вперед Ваньки.

Колька дрыгал ногой и смеялся.

Становилось легче на сердце.

У Ваньки с детства к попам, кроме страха, укреплялось вроде презрения: как повидал он клоунов на базаре, и попы ему также казались не всамделишными, а нарочно, в своих сарафанах и с бабьими космами.

IV

Сельский праздник

Пришел Троицын день.

Перед праздником Михевна вытопила пожарче печь, вымылись в печи большие и малые. Девчонки травы и цветов нарвали в поле. И траву душистую, свежую по земляному полу раскидали. И словно раздвинулись стены избушки, и светлее и радостнее стало.

А после обедни по улице уже ходили ряженные „жених и невеста“. Их провожали девки и пели песни. Разливистая, звонкая, широкогорлая песня ветром разносилась по селу; из края в край ее слышно было:

„Вздымались пески, пески желтые“ ... пели девки. И рассказывала песня о том, как полюбил молодец девицу, как весело им жилось всю жизнь да ладненько; не было промеж них ни худого слова, ни косого взгляда. Рассказывала песня и еще о многом другом, чего и совсем не бывает в мужицкой темной жизни. Яркая, нарядная толпа пела, ликовала под горячем небом, и солнце нежно заглядывалось на молодую радость.

Словно не было в этой жизни ни голода, ни нужды, ни звериных побоев, ни тяжкого угнетения сильных.

Любовалось на своих детей и старичье; должно быть, вспоминали, как и они тоже, когда-то...

Ванька с сестрами тоже тут. Он и в лес ходил венки завивать и теперь идет к реке смотреть, как будут венки в воде топить.

А навстречу этой разноцветной толпе, с другого конца села, из-за моста, к мирскому сараю, где сходки летом были, валила другая толпа.

Оттуда неслись крики, вой, брань.

То вели Соньку на сходку.

Сонька стащила у Ледяевых меру пшена и сковородку.

В середине толпы вертелась Сонька, маленькая, юркая бабенка, а вокруг нее четверо варлаганов — матерые сыновья толстого Матвея, здоровенные мужики.

Соньку били палками, кулаками, она визжала, кусалась, крутилась, прыгала, и отборно ругалась и бежала галопом, как маленькая собачонка от волков. За ней с ревом летела толпа, не отставала, не уставала.

Сонька знала — упади она, и ей — смерть.

Забьют, припомнят все кражи, за ломаную чекушку, за старое кнутовище убьют.

„Нажитое“ — не тронь!

А тут она тронула тех, у кого много этого нажитого.

Тут все Ледяевы, все Пашины.

В глазах Соньки смертная тоска; бежала и думала: когда же они устанут, когда бросят.

Космы растрепались, платок давно сбит, лицо в крови, сарафан порван на полосы.

Сонька визжит и хватается за палки.

Еще машет руками, вертится. Вот подпрыгнула как белка и брякнулась наземь. И с ревом и воем свилась над ней толпа. Мелькают кулаки, палки. Хрипят, рычат от наслажденья.

Бьют ногами, руками, в месиво обращают тело маленькое, худенькое.

А сзади, из-за толпы, стародревний, мхом просший, старый дед Пашин продирается к Соньке и шамкает беззубым ртом: „пустите, православные, Христа ради, дайте и мне, дайте и мне ее, курву, хоть разочек ударить, подлюгу“.

Ведь он тоже семьдесят лет наживал.

Ванька на работе

Шести лет Ванька поехал весною в поле. Отец рассевал, а Ванька верхом на лошади заборонивал. Вечером отец отправлялся кормить лошадей к лесу, а Ванька убегал на соседний стан, куда приходил лошадиный пастух Гаврила и рассказывал разные страшные вещи про разбойников, колдунов, оборотней. И ребятишки, и взрослые облепят Гаврилу, до позднего идет беседа. А потом разойдутся все по становьям, лягут на солому под телегу, а теплая весенняя ночь уже светлеет, и тает, и окрашивается розовым цветом.

Когда кончился посев, Ваньку отправляли в поле пасти гусей. Кузька тоже забирал своих гусей, и товарищи гнали птиц на луга. Там они бросали гусей на свободу, а сами отправлялись к слепому Павленку в сад за яблоками. Яблоки были еще зеленые и кислые, но так как они доставались со страхом, то и казались ничуть не хуже спелых. Когда яблоки надоедали, друзья отправлялись в верши, воровать рыбу.

Для этого нужно было раздеться, залезть по горло в воду. Верши были тяжелые и грязные, а рыба попадалась маленькая и невкусная.

Иногда их замечал хозяин верши, Яков, здоровый рыжий мужик. Воришки удирали от него с криком, с плачем, но Яков догонял их и драл обоих за уши. Боль скоро проходила, и товарищи смеялись и радовались, что Яков еще добрый и не сказал отцам, а то бы им было ой-ой-ой...

Иногда приятели гнали с утра гусей к лесу, пускали на пастьбу, а сами ложились в тень под деревья, и начиналась беседа.

Рассказывал больше Ванька. Он от матери знал много сказок разных: и о Кобылице-Златанице, и о Свинке-Золотой Щетинке, и о Бабе Яге-Костяной Ноге; знал и про курдышей, что крадут по ночам сметану и носят во рту хозяевам; знал и про летунов, что летают над селом, вроде огненных клубков, или ходят, вроде огненного стога сена, и про барина глупого и про попа жадного.

Особенно приятно было, когда барин, такой важный, оказывался в дураках.

Если начинался дождь, Ванька и Кузька собирали гусей и гнали их домой. Гуси грузно переваливались, сбивались с дороги и кричали друг на друга. Весенний дождь сразу усиливался и сек крупными теплыми каплями Ваньку, Кузьку и жирных гусей.

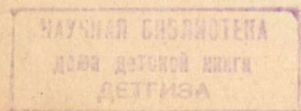
Сельская ярмарка

Наступала страда — жнитво. Михайла забирал всю семью и выезжал в поле жать.

Жнитво было далеко от села, верст десять. Уезжали на всю неделю, брали с собой сухарей, пшена, масла. Ехал в поле и Ванька. Ему давали маленький серп и заставляли жать. С непривычки Ванька обрезывал себе пальцы, скоро утомлялся, руки и ноги затекали, спину ломило, голова болела, потому что нужно было стоять, согнувшись под горячем солнцем. Но не жать было нельзя, иначе отец не даст есть.

Кончалось ржаное жнитво как раз перед Ильинской ярмаркой, двадцатого июля. В этот день Михайла ехал с ребятами на ярмарку в село Хворостянку. Ильин день для Ваньки был наилучшим днем в году. На ярмарке Михайла давал ему гривенник, и мальчуган первым долгом летел пить „бабарский“ квас. Этот квас казался Ваньке необычайным лакомством, и он только из-за кваса завидовал богачам, которые могут каждый день пить квас досыта. На остальные деньги Ванька

2 И. Кондуруш ин



шел в балаган, где столько было чудес, что он все время стоял с разинутым ртом. Когда у него уже не было больше денег, он по целым часам торчал у балагана и глазел на расписанных клоунов. У балаганов всегда толпился народ. На крышу вылезал через каждый час клоун и орал во все горло:

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Вот она, вот она, вот она — я!

Тотчас со всех сторон, давя друг друга, к балагану бросались и мужики и бабы и ребятишки. Клоун растягивал свои широчайшие ситцевые шаровары, у которых назади были нарисованы часы, прыгал, кривил рожу, пел диким голосом и отпускал густо соленые остроты.

Мужики, запрокинув пыльные, желтые бороды, хохотали, ребятишки визжали от удовольствия. Все кричали, смеялись, толкались, пылили. По рядам мимо лавок, ходили толпы народа и покупали товары: пряники, конфеты, — окаменелые, запыленные. А солнце сверху калило и наяривало, словно оно вот тут было, над головой, рукой достать. Тишь вверху, ни ветринки. Около загородок, где продавали лошадей, сквозь черную пыль едва было видно небо. Барышники щелкали длинными кнутами, пугали лошадей, те шарахались кучей, вскидывая задними ногами. Между загородками скакали на сухощавых лошаденках калмыки, киргизы, башкиры, желтолицые, ускоглазые, одетые, несмотря на 30 градусов жары, в теплую одежду и меховые с наушниками шапки.

А через ярмарочную площадь, от домов к ярмарочной толпе, бежал человек без шапки. За ним вдали через село неслись стражники, летел на дрожках пристав и свистел в свисток.

Стражники на скаку прикладывались и стреляли по человеку.

И мгновенно замерла многотысячная толпа.

Остановились барышники и лошади, застыл клоун, замерли бороды и раскрытые рты, только карусель вертелась одна, пустая: слуло народ.

— Держи его! вор! держи!

От конной загородки отделился наездник и тронул лошадь наперерез бегущему.

Взвилась нагайка, и брызнул кровавый рубец поперек лица, брякнулось тело, а на него уж насели подлетевшие стражники и вязали назад руки.

Ванька с разинутым ртом продрался вперед и видит: меж стражников стоит в косоворотке и порванных ботинках, лицо и черные кудри залиты кровью, а глаза не воровские, хорошие глаза.

И слышит в толпе шопот: „сицилиста пымали“.

Михайла ищет и тянет Ваньку.

— Тятка, слышь — сицилиста пымали, говорят, церкви жжет.

— Молчи, сынок, молчи, не наше дело.

— Айда отсюда!

И Михайла торопливо запряг Сивку и, не пообедав в харчевне, уехал домой.

Ванька уже забыл про сицилиста и всю дорогу свистел в глиняную дудку, которую купил ему отец.

У Малашкина бугра Ванька бросал дудку и пугливо таращил глаза на черный, облупленный крест.

И который уже раз отец рассказывал ему Малашкину участь.

Поженились двое, муж и жена, и прожили год. Только скоро у них нелады пошли.

Лупил муж жену и кнутом, и возжами и об печь бил, только печью не бил. Бывало запряжет лошадь, а жену к оглобле нагишем и по селу с ней.

Крутая была баба, и он озорник.

Ну, не вытерпела — и ушла от мужа к отцу.

А муж нагнал ее вот на этом месте и изрубил топором на куски, как капусту, и зарыл.

Вишь, осерчал крепко. Ваньке было страшно, но он уже понимал, что иначе не бывает: всех бьют, кто послабее.

— Не спи, сынок, скоро Ясли будут, а там и дома.

„Ясли“ — это овраг, где, как старые люди говорят, Стенька Разин коней кормил.

Дома мать вытаскивала из телеги сонного Ваньку и уносила в постель вместе с глиняной дудкой в руке.

VII

Голод

Осенью брата Ваньки, Петруху, взяли в солдаты. Это в жизни Ваньки было первое грозное напоминание, что где-то есть город.

Выше урядника и пристава жизнь деревни не поднималась.

Слышал Ванька о царе в царские дни и думал, что он где-то сидит высоко, вместе с Саваофом, в золотых сапогах, с золотой дубинкой, кругом золото. Для этого ему берут подати.

А тут пришли брать Петруху.

Петруха стал „некрут“ и загулял.

По вечерам он с толпой других парней ходил по улице с гармонией.

Иногда к ним вваливалась пьяная толпа, и Петруха пел:

„открой, мамынька, окошко, некрутам гулять немножко“, — и плакал пьяными слезами. А потом Петруха уехал в город.

Стало Михайле тяжелее.

Теперь в хозяйстве он один работник. А тут еще в придачу приключилась им беда тяжкая.

Не запер кто-то сени, влезла в сени Буренка
и слопала всю муку.

Вышел Михайла проведать скотину, вбежал
опять в избу — лица нет:

— Мать, Буренка-то сдыхает.

Запричитала Михевна, заревели ребяташки.
Бросились на двор.

Лежит Буренка, раздуло ее гора-горой.

Чуть мычит.

Захрипела, забилась и кончилась.

Упала Михевна на коровью шею, обхватила ее,
причитает: — голубушка ты наша, матушка, на
кого ты нас спокинула... взгляни ты на меня хоть
одним глазочком.

Одна беда, говорят, не приходит, а у бедняка
беда, как лебеда, на дворе растет.

Стали гнать подати.

За Михайлой недоимка 15 рублей.

Ползал Михайла на коленях перед старостой,
землю целовал, божился, что отдаст.

Не помогло.

Повели на торги продавать Сивку.

А за ним с ревом Ванька бежит.

На въезжей торги назначены.

Кто же будет покупать мужицкое добро, как
не глот-миroeд.

Тут и Степан Пашин, борода лопатой, тут и
Матвей Ледяев, на толстом пузе руки сложил.

Пошел Михайлин Сивка за 15 рублей, и остался
за Пашиным.

Весна выдалась недружная. Снег таял медленно и весь ушел в землю. Выходы хлебов были на удивление. Ждали небывалого урожая. Но прошел апрель месяц, наступил май и прошел май, а дождей не было. Хлеба не дали колоса и засохли. Травы выгорели. Земля побурела, реки пересохли. Каждый день с утра поднимался горячий ветер с песком. От этого ветра болели глаза и ныла голова. Улицы были пусты и мертвы.

Люди упали духом.

Поп в церкви говорил о грехах, и что надо иконы поднять.

Собрали попу по гривеннику с двора и ходили молебствовать по полям и старые, и малые. Обοшли верст 20. Ходили и на другой, и на третий день, посылали и одних детей в поле молиться. А дождя не было и не было.

Из Самары вернулся Иван Ратник и рассказал, что с Астрахани приехала в город холера.

Ходит по городу третий день: ребеночек на руках, платочек на голове красненький, и все прощенья просит у всех:

„простите, говорит, меня, православные, не по доброй я к вам волюшке“.

Грузчики потащили ее было в Волгу топить, да начальство отняло.

Известно, начальству не жаль простого люду.

И стал простой люд мереть. Живых известкой засыпают.

Гличанка все колодцы отравила.

А тут еще Аксинья Безуглая виденье видала: шла она в Лебяжье и вышла к ней из просов корова: — повяжи, — говорит, — меня платочком.

Аксинья испугалась и повязала ее своим платком.

Корова ей и говорит: — глянь направо, что там видишь?

— Вижу, — говорит Аксинья, — хлеб стеной стоит.

— Гляди налево, что там видишь?

— Вижу матушка-буренушка, все кресты.

— Вот, — говорит корова, — это будет на другой год: уродит хлеба, а есть будет некому.

Закручинился народ, загорюнился: „последние времена приходят“.

И вдруг сразу ляпнулся Трифон Бугай, свалился дуб стоеросовый. Мужик-то какой был!

Ну, тут и пошло...

Такие столбы повалились — износу, кажись, не было.

У Макара Пилюшкина сразу свалилось три сына, три красавца.

По улице несли три черных гроба, а за ними шел Макар: ветер трепал на голове его желтый пух.

Шел Макар и шатался, и приседал, и выл беззубым ртом.

А навстречу трем гробам из переулка выходил вечно пьяный Андрюшка Соловей, присвистывал и пел:

„Со святыми упокой, человек-от был какой, и с руками и с ногами, и со буйной головой“.

Похоронил Ванька и свою подругу-сестренку Полюшку, и всю ночь не верил, что Полюшка больше не встанет.

Затосковал Ваня.

Видит Михевна, сохнет парнишка, и надумала сходить с ним в Лебяжье, — там обмирушка жила.

И только на-днях, говорили, очнулась: на месяц обмирала, на том свете была.

Собрались, пошли.

У обмирушки полно народу.

Холера ходит, много ушло на тот свет, а обмирушка по тому свету ходит, всех видит.

Присели, слушают.

— А твой-то муженек, матушка, в смоле кипит, а вокруг него черти рогатые, а он кричит: ой, худо мне, Марьюшка, помоги!

Это, вишь, он тебя зовет.

— А твой сыночек до половины из котла вылез, молись за него, соркоуст закажи батюшке, и весь выйдет.

Несут обмирушке яички, хлебушка, деньги. Поп ей святые просфорки с благословеньем присылает.

А Михевна сушной малины принесла.

Обмирушка больно малину уважала.

— Доченька твоя в раю, Михевнушка, сидит под золотой яблонькой и яблочки кушает, а кругом ей херувимчики летают.

Пошли домой, Ванька и бурчит:

— Мамка, а ведь обмирушка врет: Полюшка яблоков не любит.

— Сам врешь, дурак! Проглоти язык-то, не твоего ума дело!

А Ванька знал, что знал, и ухмылялся.

А все-таки словно легче стало.

Наступила голодовка. Ели, что попало: липовый цвет, молотую осиновую кору, березовые листья, лебеду.

Голодало и семейство Михайлы. Случалось не есть дня по два, по три. Наконец, все семейство отправилось в Касимовку собирать милостыню.

В зиму в село приехали кормельщики; в очках, строганы голяшки, ручки в брючки.

Кто говорил, Ольшанская барыня сама кормит, кто говорил — царь прислал хлеба.

Кормельщики бражничали, баб и девок к ним по ночам ходило не в проворот — за фунт хлеба, да и деньгами сыпали.

По селу пошли мазать дегтем ворота, в домах вой и рев: девок жучат отцы, мужья женам „сени“ задают, а дело все не глохнет.

Под конец одного кормельщика парни вывалили в дегте и перьях, другому обкарнали усы и бороду и здорово вздрючили.

И кормельщики высохли. На место их назначили комиссию: поп, староста сельский, да богатей-пузан, Матвей Ледяев.

Стали делать отбор: за кем недоимки, тех вон, кто попа не уважил — тоже.

Настал царский день.

И в сытое-то время не ходили в эти дни в церковь, а с голодухи кто же пойдет.

И в пустой церкви дьячок Алпатыч гундел „многая лета“ и ежился от холода.

Пришли в обед кормиться в столовую, глядь — закрыта:

„за неучтенье царского имени“, — так поп сказал.

Потом кашу услужащие при столовой ели, да поповой свинье отнесли.

Ванюшка особенно любил кашу, а ее так мало давали.

Обносят корыто кругом, и ребятишки смотрят, как кладут: моргают глазенки слезами жадности.

„Тетенька, вон кусочек с половника упал. Это мой!“

Ванька собирал крошки со стола и под столом, откладывал кусочек каши за пазуху, а сначала кусок оближет. Больно съесть хочется.

Все это мамке. Ее в столовую не взяли.

А люди мрут себе, да мрут.

Так дотянули до весны.

Новая весна была почему-то особенно радостна. Думалось, что больше не будет уж ни засухи, ни голода. Все вздыхали как-то привольно, свободно. Хотя попрежнему нечего было есть, но теперь было тепло, было светло. Дедушки, бабушки вылезли на солнце, а ребята гурьбой играли в лошадки и в волка.

VIII

Урожай

Просохли улицы и замуравились травой. Ванька вместе с ребятами играл, бегал, так как полевых работ еще не было.

Ребятишки собирались кучей и „конались“ кому быть волком. Садилась в круг и клали все по пальцу кому-нибудь на колено. Один считал „приговорку“ по слогам и тыкал поочередно в пальцы:

— За-яц бе-лый, ку-да бе-гал, в лес зе-ле-ный, че-го де-лал, лы-ки драл, ку-да клал, под ко-ло-ду, кто у-крал, Ро-ди-вон, по-ди-вон, из о-кош-ка ку-выр-ком.

На чьем пальце приходился последний слог, тот выходил из круга. И так до последнего. Последний был волком. Все от него отбегали в разные стороны и дразнили:

— Рву, рву ягоды на поповой даче. Волк за горами, побегай за нами.

Волк ловил кого-нибудь, и пойманный становился сам волком. А то играли в вороны. Опять конались и считали другую приговорку:

— Пер-вень-чики, дру-гень-чики, летели голу-бень-чи-ки на божью ро-су, на по-по-в'у по-ло-су.

Иногда игру ребят прерывал пахучий, теплый, весенний дождь. И ребятишки радостно плясали под дождем, припевая:

— Дождик, дождик пуще, я прибавлю гущи.

Другие, передразнивая их, пели наперекор:

— Дождик, дождик перестань, я поеду в Хвостянь.

Быстро появлялись лужи, и крупные капли дождя булькали по лужам, как масло на сковородке.

После дождя по улице текли широкие мутные ручьи, и ребятишки, засучив до пояса штанишки, бегали по воде, забрызгивая друг друга, с криком и смехом.

Жнитво в этом году было веселое. Урожай давно невиданный: хлеб стоял стеной, зерно крупное, полное. Хозяйские сердца в масле плавали от радости.

По вечерам на станах перед ужином собирались хороводы. Становились в круг парни и девки. Являлся гармонист с гармонией и жарил плясовую. В круг выходил парень-плясун, заламывал шапку так, что неизвестно, как только она держалась на голове, ходил по кругу „чортом“ и выделывал ногами такие буквы, какие и немцам не снились.

Забывалась и дневная усталость, и нестерпимый жар, и двадцать часов непрерывного труда.

А степь разметалась на десятки верст кругом. и во все стороны, по ее усталой груди, неслась и прыгала, и заливалась удалая, звонкая песня.

Ваня любил такие вечера, когда наступали тихие, нежно-вздыхающие потемки, зажигались костры, и вкусно пахло полевой кашей с дымом.

IX

Мужицкий бунт

В пары, этим летом, случилась в селе заворушка. Растопыровка имела своей земли по 30 сажень на душу, а работали на земле Ольшанского барина. А в этом году барин заломил цену и деньги сразу на стол.

Богатеям ветер в зад: у тех вечные участки, а у Матвея Ледяева так целых сто десятин.

А беднота завывала.

Кинулись к барину ходоки, в ногах валялись, сапожки ему целовали.

Не смякло сердце барское, и сдал он землю лебяженским галманам, торгашам.

Застыли мужицкие сердца, заскребли в затылках мужики.

Решили в город ходоков посылать.

Пошли ходоки, прохарчились зря, ни с чем вернулись, правды не нашли:

„с барином, говорят, сами ладьте“.

А лебяженцы уже выехали на землю, на ту самую, которую растопыровцы испокон ковыряли, своим потом росили.

Решили растопыровцы не давать пахать. Собрался сход, подняли галдеж.

Пришел поп, пришли мироеды, уговаривают не лезть на рожон.

Да распалились сердца мужицкие.

И пошла вся голытьба растопыровская с дрекольем, прогнала лебяженских.

Приехал урядник, и тому влетело.

Красный, с ругательствами ускакал урядник из села.

Невиданное дело!

А мужики галдят у сарая, не расходятся.

К вечеру подлетел на взмыленной паре сам „барин“ — земский начальник, а с ним стражники.

Притихла толпа, по привычке шапки стянули с лохматых голов.

— В чем дело, старички? — ласково так спрашивает.

Вышел Андрюшка Соловей, да Давыдка пьяница и стали барину изъяснять мужицкую правду.

— Ага, мерзавцы, пьянчуги, лежебоки, заговорили! — взять их!

Двинулась толпа, загудела.

— Нельзя так, надо чтоб по-совести, неправильно это! Не дадим брать.

— Что? бунтовать? Я вам покажу! Пороть буду!

Да глянул земский на тысячную толпу: глаза горят исподлобья, урчат, как псы, то и гляди — кинутся.

Посмотрел на кучку стражников и сдрефил.

— Хорошо, хорошо, мы с вами по-иначе поговорим.

Кивнул стражникам за собой, и залился колокольчик под расписной дугой.

Тяжка была ночь на селе.

Не ложились мужики и кучками собирались. Выслали за село дозорных, вестовых.

И детишки поняли: страсть надвигается.

Ванька сидел у юбки плачущей матери.

Михайла куда-то исчез.

В обед в село влетел вестовой на непокрытой лошади, махал, как птица крыльями, драными локтями и орал: „солдаты идут“.

Все село мигом высыпало на улицу.

Делегация уже была готова.

Десять стариков, все как зайцы-беляки, с хлебом-солью пошли за село, а за ними валом народ повалил.

Смотрят от леса Долгого колышется конница, а впереди сыплет тройка.

Стоя на коляске, подлетел к старикам губернатор, соскочил с коляски.

Макар выступил вперед с хлебом-солью.

Взмахнул рукой губернатор, вылетело из рук блюдо, и перевернулся каравай на землю.

— С бунтовщиками я вот как разговариваю, вот как!

Рванул Макара за бороду, и замоталась лысая голова в пухлой барской руке губернатора.

— Вот как, вот как, я вас научу бунтовать, мякинные брюха!

И все десять сивых бород вздернулись поочередно. Подъехали казаки и стали мертвой каменной стеной по бокам губернатора.

Толпа ахнула, заворчала.

— На колени, мерзавцы, бунтовщики!

Толпа ни с места, застыли статуями.

— Слышите, или нет?

Молчание.

— Пороть этих старых собак! Взять их!

Заурчала толпа, загудела.

— По правде надо, разобрать надо, нельзя так!

— Не дадим! — завизжал Андрюшка.

Заколыхались, двинулись.

— Не дадите? Всех заporю! десятого под розги! Кто ваши зачинщики? Староста!

Губернатор вскочил в коляску.

Из толпы выскочил Андрюшка:

— Нет, стой, ваше превосходительство, ты разбери, потом ехай. — Схватил коренника под уздцы.

Толпа завозилась, заколыхалась, слышались угрожающие возгласы:

— Пороли уж, будя с нас!

— Попили нашей кровушки!

— Вот какая у вас правда!

— Не дадим! Не позволим!

— Что? — завизжал губернатор, — бунт! против царя! Стрелять бунтовщиков!

Толпа взревела от страха, боли, шарахнулась.

Ожила каменная стена, блеснули молнии, грохнулся ряд беляков, и Андрюшка кувыркнулся

кверху желтой бороденкой, поползли недобитые на карачках.

С воем, визгом летела толпа вразброд в село, а за ней мчались казаки, свистали нагайки, молотили по курчавым, лысым головам, бабьим платкам, топтали лошадьми живые тела.

А вечером у сходки на площади шла порка.

В ночь зачинщиков увезли в город, угнали и Михайлу.

Только через год вернулся из тюрьмы Ванькин отец, желтый да худой, как хрен, сморщился за один год.

Х

В школе

Семи лет отдали Ваньку в училище. В школе его дразнили ребяташки за то, что он был слабее всех и на обиды не отвечал кулаками. Был он хилый, мозглый, драный, вечно голодный.

Всякий забияка щелкает его, а он только тихими слезами зальется и жаловаться боится: маленький, слабенький.

Особенно проходу Ваньке не давал Степка Курамшин, торговца сын, и других подбивал: обступят малыша на дворе, измажут ему грязью лицо, в шапку грязи накладывают и смеются.

А он, маленький, стоит, руки опустит, в землю смотрит, словно ему всех стыдно.

Стыдился Ванька худой кацавейки материной и лаптишек своих измочаленных. Думал, оттого его и играть не принимали.

Однажды Ванька подходит к школе, ребята в лапту играют.

Степка кричит ему: „иди к нам, рвань!“

И почудилось Ванюшке, что ему сказали: „иди к нам, Ваня“.

Никто его так ласково в школе не называл, и возрадовалось его сердчишко, кинулся он к играющим и на бегу уже понял, что его называли не Ваня, а „рвань“. Замер, как на нож наткнулся.

Брызнули слезы, убежал мальчуган.

Еще хуже было зимой, когда наступали морозы и мятели. Ваня надевал кацавейку и бежал в школу, согнувшись крендельком.

А до школы было больше версты, и у Ваньки коченели руки и ноги.

В школе у них учились барчуки, дети управляющего Ольшанским имением. В школу они подкапывали на паре. Детвора высыпала и завистливо глазела на упряжь, сытых коней, отъевшегося кучера.

Барчуков выходил встречать и учитель.

Частенько кучер к учителю на квартиру приносил кулек с подарками.

Учитель был многосемейный, из поповичей, и подарки любил.

Только не все носили, Ванька тоже не носил.

И за то хорошо он знал обручальное кольцо учителя, который имел обыкновение бить им малышей по головам: согнет руку в кулак, выставит вперед крючком средний палец с кольцом, и трах этим кольцом по башке, так что в ней гул и трезвон пойдет.

Но куда страшнее был в школе поп. Он напоминал Ваньке бога Саваофа: весь в седой гриве,

с длинной серой бородой, весь широченный. С желтыми прокуренными усами. Был он хромой и приходил с толстой сучковатой палкой.

Ванька с тоской ждал уроков „закона божья“, когда хромой Саваоф сядет посреди школы на стул, завернет толстую цыгарку и стукнет палкой.

Провинившихся детей поп бил не рукой, а своей страшной палкой по спине, пригнув за волосы к парте мальчонку.

Встанет мальчишка отвечать урок, ножонки дрожат и тянет-пищит:

— И сказал бог Адаму: ты Адам будешь ползать на чреве и питаться прахом земным, но придут семь жен и сотрут главу змию.

— Ка-ак! — орал мохнатой пастью поп. — Как ты сказал, сукин сын! Повтори!

Но палка не дожидалась повторенья, и мальчонка верещал зайцем под поповской дубинкой.

Не трогал поп детей мироедов-богачей, с которыми хлеб-соль водил, и барчат, конечно, не касался.

И уже тогда в кудластую Ванькину головушку закрадывалась неясная мысль, что бог и поп — хороши для богатых.

Барчуки учились неважно. И Ванюшка им зачастую задачки делал, а еще лучше он делал свистки и дудочки для птиц.

Не раз барчуки заходили и в дом к Ваньке.

И странно тому было, почему отец так суетится, смахивает пыль со скамьи.

А особенно, почему он молчит, когда барчуки влезут к нему на колени, дергают за бороду, а то заставят Михайлу возить их верхом.

И отец, такой страшный для Ваньки, становится на четвереньки и галопом возит их по избе, заливаясь тонким смехом.

Стыдно Ваньке за отца станет.

Однажды барчуки пригласили Ваньку на воскресенье к ним погостить. Он с радостью согласился.

На паре покатали в имение.

Ваню поразила невиданная роскошь: крашенные полы, половики, мягкие стулья, множество комнат.

Обед был еще лучше, чем на поминках бывает.

В блаженстве растянулся Ванюшка на отдельной кровати, стал уже засыпать и слышит за стеной голос барина.

— Зачем ты этого нищенку сюда привез? Чтобы он тут нам вшей напустил?

Нищенка! Вот кто он для них!

Как шилом подкололо мальчика. Вскочил мячиком с постели, напялил одежонку, выбрался потихоньку, и задами, обходом — домой.

Больше его не тянуло в богатый дом.

Залегла в сердце мальчика, как ледыш, надолго обида. Рассказал отцу, тот буркнул:

— А ты как думал? не в свои сани ни садись!

Кончил Ванька сельскую школу десяти лет и с тех пор постоянно помогал отцу в хозяйстве.

XI

Дома

И не был Михайла пьяницей, совсем почти не пил, а темнота да горе зверем его сделали.

С детства в погонщиках, чищалкой обучен и узнал одну мудрость:

„бить — уму разуму учить“. Все бьют, его били, и он бил семью.

Доставалось Ваньке, так как постоянно с отцом был. Чем только ни бил его отец: и палкой и ремнем, и топором, душу вытрясал.

Как только Ванька чудом жив остался?

Упрямый был чертенок: расшалится иной раз за столом, зыкнет на него отец, занесет кулак пудовый, а Ванька смотрит ему в глаза, криво и зло усмехается, хоть и уходит душа из пяток.

— У, волчонок — околотень! — ворчит отец и отводит кулак.

Зимой раз с отцом поехали на гумно за сеном. Стужа несусветная, ветер, закоченел мальчонка. Приехали на гумно.

И заставил отец мальчишку дергать сено мерзлыми голыми руками.

Не, крючатся пальцы, плачет мальчонка.

Пнул отец Ваньку, свалился тот, дух захватило. Наклал отец сено и уехал один, а Ванятка, маленький, поплелся домой, сквозь вьюгу.

Всполошилась мать, кинулась на отца:

— Где Ванька?

Слово за слово. Поднялся визг.

Тузит Михайло Михевну.

Вбежал Ванька, кинулся мать защищать.

Обоим попало. Отдубасил их Михайло и кулаками и сапогами, места живого не оставил.

Выгнал бабу на мороз, мальчишку загнал в угол. Сидит Ванька, дрожит.

Поздно ночью вошла крадучись Михевна, приползла к Ваньке, обхватила его, прижала к избитой груди и, давясь слезами, зашептала:

— Царица небесная, прибери ты меня с этого света.

Рыдал Ванька на маминой тощей груди и думал: „где же слабым защита на свете“?

И когда потом Ваня вспоминал свое детство, юность, — помнились ему только побои, одни побои, грубость, ругань и унижение.

То отец мать матом кроет, а она ему злобно-трусливо кричит:

— Свой род! свой род!

То мать бьет его за порванную рубашку, то отец его *лупит за потерянный гривенник:

— Ты знаешь, подлец, я за гривенник-то с избы на борону прыгну! — кричит отец.

Ванька впрочем никогда не обижался на мать: та побьет и сейчас пряничка или сахарку тащит. Любил, а не уважал ее.

А отца боялся, порой ненавидел.

А когда видел, как силач-отец сгибался перед толстым Матвеем, дрожал перед урядником, лебезил перед попом, — Ванька жалел отца и чуял, что есть в жизни какая-то сила над всеми ими. Только не Саваоф, к нему он привык, а что-то похуже.

XII

Попы — жеребьячья порода

В междупарье и зимой Ваньке дома и есть и делать нечего.

Привадил дьячок Ваньку к церкви: кадило подавать, сторожу помогать.

С сорокоуста (за сорок обеден) Ванька получал сорок копеек, отец их отбирал. Да поминки. Вот это было самое главное, особенно у богачей.

Ванька был тоже в „причте“, т.-е. с попом, дьяконом, дьячком, и усаживался за „красный“ стол.

С голодухи Ванька сначала набрасывался на щи и наедался сразу досыта. Пузо полно, а, глядь, там идет лапша с бараниной, рыба жареная, студень, пшенники, лапшенники, пироги с рыбой, пироги с кашею, курники, сладкие пироги. Глаза на лоб лезут от жадности, а некуда.

— Что, Ванька, не можешь? — смеется дьячок. — Ешь, дурак, а то другой раз не возьму.

И Ванька ест, ест, и в карман сует и за пазуху, и потихоньку пояс развяжет, чтобы полегче дышалось.

Также доход был, когда по селу с крестом ходили. А за попом ехала подвода. И валили в нее караваи хлеба, зерно, муку.

Перепадала и водка.

Поп Василий любил куликнуть. Случалось и крест потеряет. Везут попа без задних ног сдавать попадье.

В богатый год частенько у попа собирались гости: соседние попы, даже сам барин-земский иногда приезжал.

Ванюшка на побегушках, в прислуженьи.

Соберутся долгогривые жеребцы, перепьются и примутся плясать.

Разденутся догола и пляшут.

Грохочут сытые, здоровые, укормленные, как быки племенные!

На утро смотрит Ванька в алтаре на попа Василья в ризе, припомнит его вчера голого, и сплюнет.

Совсем уваженья не стало. И решил Ванька окончательно: никчемный народ — жеребьячья порода.

Родительских суббот (когда родителей поминали), которых было четыре в году, Ванька ждал, как большой радости.

Он был хорошо грамотный, поэтому его брали в алтарь читать поминанья.

В эти дни он надевал свой старый „дипломат“ и штаны с карманами. За проскомидией Ванька изрядно набивал себе штаны просфорами.

Но главное было впереди.

После обедни, на середину церкви выносились столы, и все столы бабы уставляли кутьей (рис с медом), чашками меду, а под стол наваливали миски, тарелки с блинами, курами, пряниками, баранками.

И чего-чего только там не было!

Выходили поп, дьячек, певчие — читать поминанья.

Поднимался по церкви разноголосый гомон:

Бас Никифора гудел: Марью, Дарью, Варвару, Варвару...

Альт заливался: Акулину, Ивана, Ивана, Федосью...

Дискант пищал: новопреставленного младенца Герасима, Гликерию, Петра, Петра...

А глаза чтецов метко прицеливались под стол, выбирая, что повкуснее.

Кончилась панихида, поп ушел в алтарь, и вся свора певчих разом кидается под стол.

Летят куры, баранки, толчки, тумак, ругательства.

В затылок Ваньке вцепилась чья-то рука в мед, а другая выбивает у него из рук цыпленка. Злобный голос шепчет: „брось, сволочь, это мое“. Федька-дискант пополз по баранкам. Бабы охают и кидаются спасать остатки: „ах, охальники, ока-янные, пропаду на вас нет, чашку раздавали, анафемы!“

Довольный, с полными карманами просфор, с цыпленком и двумя пряниками летел Ванька

домой. Замирало сердце, когда вспоминал суровый лик Саваофа, что смотрел сверху на их бой и думал:

„ни черта, смолчит, видал раньше“.

И фыркает, припомнивши, как в прошлую родительскую дьякон, здорово хлебнувши в алтаре церковного, начал плясать по блинам попа, который отобрал себе в кучу все вкусное.

XIII

Ваньку на сходку

Отчаянный мальчишка и вор был Ванька.

Налеты на огороды и сады, опустошение куриных гнезд, выбитые окна у старосты.

Хвост ли обрубят у свиньи — все это, наверняка, Ванькиных рук дело.

И словили его на пустяке.

Забрались с приятелями на пчельник.

И меду-то не досталось, и пчелы-то их искусили.

Опрокинули два улья, выбежал пчеляк, мальчишки драли.

А их все же заприметил.

На другой день отец позвал Ваньку:

— Ну, сукин сын, околотень, допрыгался, вор. Иди, на сходку тебя зовут.

Мать заплакала.

Ванька видит, что отец тоже испуган, и у самого сердца упало.

— Зачем на сходку?

— А вот там тебе объяснят.

Повел отец Ваньку, держит за руку, чтобы не удрал, сам бубнит:

— Срамишь меня перед миром, подлец. Вот как всыплю тебе за штаны, так будет не потцовски, а на всем миру.

— Я, тятя, не дамся сечься.

— Ну ладно, там поговоришь.

Сход гудел в большом сарае.

Разбор дела был недолог. Присудили посечь Ваньку розгами.

Ванька слушал побелевший, ничего не понимал.

Михайла вышел на средину, снял шапку:

— Пожалейте меня, господа-старички, не срамите, ведь я за мир пострадал.

Ледяев Петруха бабьим голосом выкрикнул:

— А кто тебя, голодранца, посылал страдать? Своя же дурость. А воров завсегда сечь будем.

Степан Пашин, владелец пчельника, степенно гладит бороду:

— Конечно, как не посечь. Пусть знает: не наживал добро, не трожь.

Молчит сход.

Только пьяница Давыдка закричал сзади:

— А ты, мироед, трудом, вишь, нажил, что за стакан меду дите драть хочешь, живодер!

Загалдели мужики, ничего не разобрать.

Староста установил порядок:

— Дело решенное, старички. Коли воров не учить, так никому житья не будет. Нынче у тебя, завтра у меня. Не для них наживаем.

Михайла стоял посеревший, опустив голову.

Ваньку кто-то схватил за руку, потащил.

— Не дамся, не дамся, утоплюсь, зарежусь!

Впился зубами в руку, как волчонок, вырвался, сквозь ноги нырнул — и поминай, как звали.

Кто-то пустился за ним в догон, тяжело сопя.

Где там догнать.

Неделю пропадали где-то Ванька, а потом забыли.

С тех пор стали кликать его „Волчонок“, и побаивались.

Еще спалит, осторожное отродье!

XIV

Кулачный бой

На Рождество и масляницу в Растопыровке „кулачки“.

Особенно интересна было масляница. Масляной ждали все кулачники. Уже с Рождества кулаки чесались. На масляной со вторника начинались кулачные бои.

В своем селе ходили конец на конец.

Еще с обеда перед мостом, что разделял село на две части, собирались мальчишки и залиристо кричали:

— Давай, давай! Давай, давай!

Ванька теперь подровнялся, подрос и, страстный любитель кулачных боев, убегал украдкой от матери, а в стенке шел вместе с Лалаем.

Лалай — сопливый, пузатый силач. Без него у ребятишек стенки нет.

Иногда он артачился, не хотел драться: „брюхо болит“. Его все уговаривали.

И вот Лалай пошел, пошел.

Как бык наклонит голову и работает руками, что цепами.

С той стороны боец—Степка Курамшин, щеголь; под ножку без промаха бил.

Лалай налетал на него ураганом, Ванька справа, и Степка летал меж ними мячом, стараясь уласть: лежачего не бьют.

Тут припоминал Ванька ненавистному Степке его „рвань“.

За малышами вступали подростки, потом парни и мужики. Тысячная толпа гудела, в середине ее крутилась свалка, хрюскали ребра, скулы, зубы, на снегу алели пятна крови, чернели шапки, рукавицы.

Вот слились клубком, раздались, Ванькина сторона дрогнула, побежала, рассыпалась. Летит без шапки Давыдка, а за ним саженный Никишка.

Догнал, хрюснул, гакнул Давыдка, колесом в снегу завертелся.

А гонцы уж бегут к Захару. Того жена не пускает.

— Захар, наших бьют, наши бегут!

Без шапки летит Захар, некогда надеть, семидесятилетняя бороденка куделится по ветру.

Бурей ворвался, налетел на борова Никишку, крушит с ревом, и вновь „наша берет“. Строится стенка и поперли, погнали. Мелькает в середине желтая плешь Захара.

Вой и гул над селом, как метель, тучей снег кверху, гиканье, свист, хохот, улюлюканье.

Еще сильнее были бои, когда сходились два уезда через реку, до десяти тысяч, по 10 сел с каждой стороны. На версту каждая стенка.

Богачи спаивали бойцов, и доходило дело до гирек и кольев. Издалека приезжали смотреть бои.

Приезжал на расписных урядник, приезжал на паре становой, выезжал и Ольшанский барин посмотреть, как мужички потешаются. Очень одобряли.

Гуляла дикая силушка, бурлила мужицкая злость-тоска, и трескали от нее мужицкие скулы, барабанила по мякинным мужицким брюхам.

Становой с барином держали пари на породистую суку: чья возьмет?

Ванька - батрак

15-ти лет Ваньку отдали в другое село в работники, так как он уж был здоровый парень.

Запродал отец Ваньку за 20 рублей и две меры ржи.

Лошадь купил Михайла на эти деньги.

А Ванька узнал всю горечь работы у богатея-кулака.

Через неделю житья убежал Ванька от своего хозяина.

Ночью, как вор, постучался в окно, вышла мать, и все без слов поняла, когда Ванька кинулся ей на грудь, а она гладила его голову, всю в шишках.

— Потерпи, сынок, что делать.

Деньги забрали, хлеб смололи. Как же быть? Убьет отец. Беги назад, пока не узнал хозяин. Потерпи.

— Мамынька, силушки нет. Ка-бы не ты...

Выплакался мальчишка на маминой груди, а к утру вернулся и, чуть свет, поил коров, быков, лошадей хозяйских. Таскал воду из колодца, а скотина пила, пила без конца.

Намешает Ванька в колоду с водой лошадиного помета, и отойдет скот от воды, сердито фыркает — напились, дескать, такой воды.

Дивится хозяин, что мало пили.

В новом селе завелся у Ванюшки приятель, портной Сергей.

Был он из города, много кой-чего видал, соврать был мастер и на язык остер: никому проходу не давал.

Боялся его даже старшина-толстосум и все грозился сослать Сергея по приговору: какие-то дела за ним водились. Да видно руки не доходили: Сергей знал, кто чем дышит и, как про него говорили, одним словом человека убить может.

А пуще всего любил Сергей „фокусы“.

Ходил он по дворам шить поочередно.

Шил раз у объездчика Старостина.

Зимой деревня с курами ложится, с курами встает. А портной сидит под лампой, скучно станет.

Возьмет сапог, залезет под лавку и гудит в сапог:

— Афанасий Иванович дома?

Проснется Старостин: кто там?

— Я — десятник, тебя начальник зовет на въезжую.

А въезжая-то на другом конце села.

Оденется Старостин и заскрипит по морозу.

Вернется, чертыхается.

Только уснет, Сергей опять:

— Афанасий Иванович, иди скорей, начальник не на въезде, а у Тюрина.

Это немного поближе.

Опять Афоня пошкандыбает.

А потом кроет невесток скверным матом, что они, безбожницы, ставни не крестят, когда окна запирают: нечистый и балует.

А Сергей хихикает и нитку покусывает.

Была у Сергея избушка об одно окошко: штаны в ней расстегни — тесно станет.

Повадился Ванька к Сергею в его дворец.

И не мало тут чего было переговорено и насчет бога-Саваофа и насчет бедняцкой доли.

И впервые тут Ванюшка узнал, что царя Александра II не помещики убили за то, что он волю дал мужикам, как ему на селе рассказывали, а убили его народовольцы-революционеры.

Ваньку это ошарашило. Революционеры ведь это страшные люди, вроде разбойников, ему говорили.

А потом Сергей из-под половицы достал пачечку разноцветных книжечек тоненьких и развернул одну из них о налогах и податях царских.

Огни в глазах запрыгали, целый мир новый в голове Ванькиной завертелся. От страсти дух захватывает. До утра просидел он над книжками и, как пьяный, вышел на заре на морозный воздух. Новый человек нарождался.

Ванька почувствовал, что урядник теперь его враг опасный: взглянет — и сразу узнает, что Ванька книжечки читал.

На весеннюю пашню уезжали надолго в поле. Бывало и по месяцу не возвращались домой.

Люди работали как лошади, а у лошадей устали не спрашивали.

Ванька иногда и за плуг становился, но как только делал „огрех“, хозяин давал ему по шее и ставил Ваньку погонять. Ванька уже ловко научился увертываться, когда плугарь пускал в него чищалкой.

И нипочем уже ему был непрерывный дождь, пудовая грязь на лаптях, ночевки под телегой на сыром рядне.

Надоедала грязь и вши на теле. От многонедельной грязи тело коростой заростало, вши грызли нещадно. И как только выпадался теплый денек, скидалась с плеч полупудовая посконная рубаха, и начиналась ловля зверья. А его все равно не выловить: больно много, жирных, белых, особенно в складке у рукавов. Тогда Ванька вывертывал рубаху налицо и проходил по шву зубами: „звери“ трещали, и Ванькина кровь выступала на рубашке насквозь.

Так на практике Ванька познавал „хитрую механику“ жизни: он—Ванька за двадцать рублей на хозяйских харчах со вшами, а Ольшанский барин, в хоробах на перинах, „зарабатывает“ двадцать тысяч в год.

Чувствовал Ванька, как в нем сердце поднимается, и дерзость растет против подлого мира.

Страх проходил перед жизнью и урядником.

И тянуло мальчугана в далекие земли, в чужие края, отсюда из неоглядных тоскливых полей с буранами, метелями, засухами, от попов и помещиков, злой темноты.

Где те люди, что книжки разноцветные пишут и много кой-чего не договаривают?

В полевые работы Ванька, как взрослый, жал, косил, молотил, в сенокос и стога метал.

Часто на жнитве, в обед, когда старшие ложились на час, на два отдохнуть, Ванька с Кузькой бегали с поля, версты за три, в Касимовку, к портному за книжками.

Ребята успевали за время отдыха старших сбегать в Касимовку и искупаться по дороге в реке.

А на другой день, когда взрослые опять ложились на отдых, ребята забивались под скирды и с жадностью глотали добытые книги.

XVI

Ванька в бегах

В таких чтениях и беседах приятели составляли планы бегства из Растопыровки в город.

У обоих были крепкие руки, ноги да по голове на плечах, и все это для того, чтобы одно брюхо накормить.

Неужто человек пропасть может?

И помог скоро этому хотенью случай.

Мать у Ванюшки еще не старуха и приглянулась уряднику.

Зачастил в их село урядник с делом и без дела.

На въезжую не идет, а как в село, так к Михайле в дом—чай пить.

Отца, который был в то время сотским, по делам ушлет, Ваньку—в лавку или в монопольку.

Замечает Ванька, что мать места себе находит, как урядник в дом, а не смекает еще, в чем причина.

Видит, что и отец сам не свой, заюлит, залезит по привычке, а словно в нем что-то срывается.

И не пошел однажды Ванька в лавку, вышел за дверь, встал в сенцы и слышит, как мать шепчет громким шопотом: „как те не грех, людей бы постыдился, бесстыдник, к старухе лезешь. Кричать буду“.

Рванул Ванька дверь, а урядник мать облапил и норовит рот ей зажать.

Понял тут все Ванька, схватил с лавки деревянную колотушку и шарахнул ею урядника, что есть силы, по затылку. Грохнулся тот, как бык, захрипел.

А мать ему шепчет в ужасе:

— Что ты, сыночек наделал? Убил ведь ты его, ирода! Пропадем мы теперь все! Беги скорей, беги, сынок, а то засудят!

И в эту же ночь из села, окольными дорожками, с котомочками, уходили два приятеля.

Дивовались на селе, куда канули Ванька и Кузька. А потом забыли.

Знала и помнила только Михевна, мать Ваньки. У Кузьки матери не было.

Выдержала медная урядницкая голова: очухался и ни гу-гу.

Бежали ребята на Волгу, летом 1913 года.

Там их взяли на буксир в помощники кочегару без всякой платы, за хлеб.

Кузька был мастер на все руки: он был и плотник, и столяр, и портной. Какие угодно игрушки мог делать, у него было и самодельное ружье.

Поэтому Кузьку скоро оценили на пароходе и приятелям жилось сносно.

Это было красивое и интересное время.

Сколько сел, городов, сколько народу!

И все незнакомые.

Но уж видит Ванька, что и в богатых городах много слез и горя, и еще сильнее здесь свои мироеды — Пашины и Ледяевы.

Часто вечерами, сидя над дымящейся рекой, на борту пароходика, слушая гудки встречных пароходов, друзья с тоскливым чувством вспоминали свою лохматую, бедную Растопыровку, широкие тихие улицы, сонную речку, звонкие хороводные песни над рекой в ласковый летний вечер.

Вспоминает Ваня тихие летние вечера в поле, на сенокосе, дым от костра идет кольцами, пахучий, черно-красный, над огнем в котле каша пляшет; Ванька и Кузька растянулись на соломе у огня, а в темноте, с душистого поля, тихо звенит одинокая песня:

Ты подууй, подууй, бурь-погодушка,
с высоких гор...

Защемит Ванькино сердце, заволочет глаза туманом, да вспомнит бычий затылок урядника, волосатый кулак учителя, и остынет в нем сердце.

Пропади пропадом — не вернусь!

Капитан парохода „Редедя - князь Косожский“, где служили приятели, был, как подобает капитану, всегда или выпивши или с похмелья. Не

мудрено было изучить, что всяк человек с похмелья не в себе, а пьяный добрее.

Когда над широкой рекой опускалась тихая ночь, ласково дышал сумрак, под колесами урчала вода, высоко в темноте загорался фонарик, и по реке вспыхивали огоньки, глухо отдавались сонные звуки, — пьяный капитан садился на верхней палубе, звал к себе Ваньку и преподавал ему всю свою несложную мудрость:

— Кричи — стоп!

Ванька кричал в рупор: — стоп!

— Вперед!

— Вперед!

— Назад!

— Назад!

— До полного!

— До полного!

— Ну вот ты и капитаном можешь быть.

И капитан заливался пьяным, снисходительным смехом.

Ванька не понимал только, за что капитану платят сто рублей, так как он редко видел его чем-нибудь занятым.

Однажды ему стало яснее, когда капитан смазал его по зубам за невычищенные поручни.

XVII

Ванька в тюрьме

Не долго выдержал Кузька тоски по Растопыровке и через месяц ушел с парохода, а для Ванюшки начались скитания.

За грубый ответ поперли его с парохода, и Ванька со своей котомкой оказался в большом городе.

Он видел, что в городе суетятся тысячи людей, все бегут по делам, все заняты и ему смешна была мысль, что он, с крепкими руками и ногами, не найдет себе работы.

А тут нашлось с первого же шага большое к тому препятствие: у него не было вида на жительство.

Раньше он слышал о „пачпорте“, но думал, что „пачпорт“ нужен только на „святую землю“: на заработки из их села не ходили.

Пробродив до вечера по городу, Ванька, по совету прохожего, пошел ночевать в ночлежку.

Но и там ему сказали, что без пачпорту нельзя.

Пристроился к кучке, прошмыгнул, ночь прошла, а утром голова заработала, как быть без „виду“.

Вспомнил рассказы Сергея о революционерах, о народовольцах, что царя убили. Говорил Сергей, что уж очень хорошие люди. Надо их найти. Но где?

Остановил прохожего, вполголоса:

— Дяденька, а где здесь народовольцы живут?

— Кто? народовольцы? а зачем они тебе сдались?

— Да я к ним по делу.

— По делу? вон оно что... Пойдем-ка я тебя провожу.

И привел Ваньку в жардармерию (как он потом узнал).

Целый день просидел там Ванька в каталажке, а вечером его привели в кабинет к самому полковнику.

Смекнул Ванька, что здорового дурака сваял, вспомнил колотушку и урядника.

Но ведь у него щкура дубленая, и сцепил зубы.

Допрашивали Ваньку сначала ласково, потом пожестче, под конец и совсем нехорошо.

Да где там: далеко до поповской дубинки.

— Упрямый чертенок!

Решил полкаш: опасный парнишка, много знает и не спроста молчит.

А ночью Ванька дивовался сводчатым потолком и четырехэтажными висячими коридорами губернской тюрьмы.

Утром ему прислали хлеба белого, чаю, сахару, и письмецо передали с вопросом: кто, за что?

Завел быстро и переписку по веревочке из окна в окно. Стучать научили. Хорошие ребята, „политические“. Тут Ванька еще раз себя дураком назвал, когда узнал, что революционеры, которых он искал, живут не в городе, а в тюрьме, что народовольцев давно на свете нет.

Но почему же ему все-таки не страшно?

Скучно только, но частенько вызывают на допрос, всякими хорошими вещами соблазняют, деньги сулят и тумачи дают.

Но как же Ваньке рассказать, кто он?

А урядникова башка?

Три месяца молчал.

А за это время ему и паспорт спустили по веревочке.

Потом Ваньку на допрос повели, и попались ему те же конвойные, что уже не раз его водили—рязанские.

Привыкли к Ваньке, знали, что беспаспортный он, убежал от отца, жалели: зря морят мальчишку.

Отпустили его по дороге зайти к „знакомым“ за хлебом, пошел Ванька во двор, да и поминай, как звали.

И пошли рязанские одни к полкашу.

Через две недели Ванька был в другом городе. Ого, теперь он стал куда умнее.

Спасибо тюрьме и революционерам.

А все-таки Ванька решил, что в тюрьму больше не стоит.

Начались для него скитанья.

Всякие профессии перепробовал: руку протягивал, и малярил, и улицы мел, и сапоги чистил, и грузить пробовал, да еще силы маловато.

Наконец обосновался в лавке.

Тут бы совсем хорошо, да сильно претили Ваньке приказчиьи штуки-фокусы, мошенничества с покупателями, воровство. И хозяин не лучше: настоящий Матвей Ледяев, сложит на пузе руки пухлые и покрикивает на Ваньку.

Претило, как они издевались над „простым“ людом, как лебезили перед господами. Стало Ваньку с души воротить, и уж начал он подумывать о перемене специальности, а тут и случилось.

XVIII

Ванька на войне

Летом 1914 года, когда Ванька утром подметал пол в лавке, вбежал приказчик Трифон, белый как мука, с газетой в руках:

— Германия объявила России войну.

Ванька понял, что приказчик испугался потому, что он был в запасе.

За день приглядывался Ванька к публике в лавке и на улице и видел, что войну не все одинаково принимают: кто горюет, а кто не очень.

Город загудел.

Шныряли толпы народа, раздавались листки, мелькали газеты, заходили по улицам с песнями солдаты, зазвенели шпорами и саблями офицеры, а потом поперли из деревень запасные, пыльные, желтые, обросшие бородами мужики, с большими мешками, с плачущими бабами.

В церквах попы заговорили проповеди.

Читал Ванька газеты, дышавшие злобой к немцу, с разными ужасами, и смутно становилось у него в голове.

По газетам выходило, что „весь народ“ с гневом восстал против насильников.

А побывает на вокзале, потолкается среди запасных и не видит этого гнева, а только бабьи слезы да хмурые серые лица.

В праздник пошел на пристань, сегодня будут запасных отправлять.

Тысячная толпа залила громадный пароход.

Запасные заполнили и нижнюю и верхнюю палубы, все проходы и в первом и во втором классах, даже заняли некоторые свободные каюты.

И их не только никто не гонит, а все, и даже капитан, проходят мимо тихо. Вежливо, мягко так да ласково с ними разговаривают.

Из каюты I-го класса выходит какой-то, с трехэтажным подбородком, перстень золотой и жилет пике.

Золотой портсигар открыл, угощает запасных: „курите, солдатики, не стесняйтесь, вы—наши защитники“.

И барыня тут какая-то булочки им раздает: „кушайте на здоровье“.

Один запасной берет и бурчит: „меня кормите, а кто мою семью кормить будет? Уеду, и забудут все“.

— Неправда, неправда,—заволновалась барынька,—мы вас не забудем, мы все вас любим, жалеем.

И слезы у самой на глазах. Да красивая такая. Трогательно.

Погудел пароход три раза, провожающих согнали, и начал отчаливать.

Столпились уезжающие все на одном борту, перевалило пароход.

А на пристани началось столпотворение.

Дети кричат, ревут, бабы визжат, кликушами кликают.

Одна за перила ухватилась, в воду лезет, головой колотится, то кверху рот раскрытый поднимет, руками всплескивает:

— Ой, мамыньки, пропадаю! Матвеюшка — батюшка! Ой, кормилицы, родимы! Пропала моя головушка! Детушки мои милые!

Пароход спокойно шлепал колесами, грузно загребал воду, отходил все дальше и дальше, неслись с него разноголосые песни, а на берегу билась о перила простоволосая и причитала баба. Защемило Ваньке сердце.

Подумал, подумал Ванька и решил, что надо ему добровольцем итти.

Притерся к эшелону, и прижился с солдатами.

Сначала гнали, потом оставили.

До фронта Ванька не дошел.

Высадили их полк в Жмеринке: подравнять, обусть, одеть.

Не долго жили тут—две недели, да таких, что для Ваньки стоили двух лет.

Тут он заглянул в изнанку войны. Увидел зверский мордобой офицеров и их кутежи с сестрами милосердными, и понял глубже, какая пропасть между золотым погоном и серой шинелью.

Особенно противен был их ротный командир, поручик Змирлов. Соберет, бывало, свою роту и начнет ее обходить.

Увидит у запасного бороду веником, схватит его за мохнатые баки:

— Ты что, сукин сын, неприкосновенный придаток что ли, отрастил мочало? Я тебе прикоснусь!

Но хуже всего, когда он не кричал.

Подойдет к солдату. Тот замрет, вытянется в струнку, ест глазами.

А Змирлов, ни слова не говоря, медленно стянет с рук перчатку и перчаткой его по носу, как собачку:

— Подберись, брюхатая баба.

И понял Ванька, что он второй раз сваял дурака, и диранул из полка.

Ванька большевик

Очутился Ванька на юге.

Теперь уж он стал целым Иваном. Семнадцать лет парню, подрост, подровнялся, побои да кулачные бои впрок дошли, сила у Ваньки поперла.

Пошел опять на старую работу, в порт грузчиком, и уж теперь устоял.

С утра и до вечера таскал Ванька, раскарячившись, тяжелые мешки, кули, громадные тюки с хлопком, кожу.

А все же нет настоящей жизни: не находит Ванька тех людей, что книжки разноцветные пишут.

Знакомства со своими товарищами водить не хочется: те, как кончится работа—в пивную.

Других знакомых нет.

Однажды, в праздник, в кино, познакомился Ваня с Федькой - слесарем.

Работал слесарь на механическом заводе.

Стали вместе бывать у его знакомых.

Тут и встретил Ваня впервые долго-жданных людей.

Однажды попал и на собрание, тайком, за городом.

Собрались там в овраге, в какой-то яме, пришел оратор, товарищ-женщина. Худая, чахоточная, говорит, говорит и за грудь впалую схватится. Жалко ее Ваньке.

А потом Ваньку перетащили на завод, и стал он у наковальни молотобойцем. Пригодились Ваньке и прочитанные запоем книги, и его скитания, и все его жизненные мытарства долгие. Он скоро почувал, что не только понимает ученую скорострельную скороговорку агитатора на собрании, но и видит, что он, пожалуй, знает много больше его окружающих.

К весне 17-го года дошла до Ваньки тяжелая весть: умерла мать, перед смертью без языка сделалась, а все на его рубашенку показывала: повидать хотела.

Защемило Ванькино сердце, да много уже времени прошло, три года с лишним, забываться стала Растопыровка.

Вечером пошли на тайное собрание.

И вот приходит туда взволнованный товарищ и сообщает, что в Питере все министры арестованы — значит, революция.

Не поверилось, ошибка, еще лет 30 до этого. Почему-то именно 30, а не меньше?

Но скоро пришлось поверить.

Заходили толпы народа, с цветами, с красными бентами, кричат, „ура“.

И их завод пошел через весь город.

Из окон смотрели радостные лица, барыни махали платочками, и господа в котелках тоже чему-то радовались.

Фараонов не стало.

Посредине города стояла на скорую руку сколоченная трибуна, а на ней военные и какие-то порядочные люди, чисто одетые.

Военный-поручик к каждой проходящей группе наклонялся и хрипло орал: „да здравствует война до победного конца!“

А Ванька удивленно слушал: ему казалось, что именно теперь-то и конец войне.

Теперь Ванька все митинговал: то на заводе митинг, то в городе на площади, то в крытом рынке.

Уже пора ему было разбираться и в партиях, и он разобрался, тах как покупал крошечную большевистскую газетку.

Бывал и на заседаниях совета депутатов, совместных: крестьянских, рабочих и солдатских.

На собраниях хмурые, грязные рабочие усаживались в кучку, вместе.

Крестьянские депутаты, как на подбор: бороды лопатой, новенькие поддевки и полушубки.

Иногда такая борода выходила на трибуну и ораторствовала:

— Граждане, я предлагаю цену на хлеб повысить, кто за меня?

И первый сам поднимает руку.

Ванька видит, что перед ним Растопыровский мироед революцию по-своему объясняет.

Бывало не мало на этих заседаниях и барынь.

Те со страхом и безгливостью смотрели на кучки рабочих, шептались:

— Смотрите, какие ужасные лица, настоящие преступники. Все это большевики. Посмотрите на них, бездельников, уселись господами, неумытые!

Чувствовалась злоба, и Ванька уже понимал причину этой злобы, и в нем загоралась ответная ненависть ко всем этим выхоленным, упитанным, чистеньким, беленьким, картавющим.

Он начинал чувствовать себя членом великой рабочей семьи пред лицом своих врагов, что дубасили его шкуру, обманывали, морили голодом, травили вшами. Ему хотелось все это высказать, да смелости не хватало.

А нашлась она просто: вечером на площади попал в один из бесчисленных митингов, где какой-то в манишке говорил об изменниках, шпионах и предателях-большевиках.

Не вытерпел Ванька и крикнул ему: — врешь, дурак!

И выскочил из толпы: — дайте и я скажу!

Загудела толпа по разному: — вон! долой большевика!

Пусть говорит! По шее ему накласть!

А Ванька вылез уж наверх, глянул на толпу.

И вспомнил тут Ванька все, что было надо: попа ехидного—пьяницу, мироеда Матвея Ледяева, чищалку своего хозяина, осенние ночи на поле со вшами, губернатора и ряд мертвых беляков, проданного с торгов Сивку, пьяного капитана,

жандармского полкаша, поручика Змирлова, воюющую на пристани бабу, Ольшанского барина со псами, ханжу своего хозяина-торговца, вспомнил всю свою растреклятую жизнь человеческую — и крикнул в толпу, подняв свои углем проеденные руки:

— Ша! Что вы, как гусаки, раскричались? Режут что ли вас? Вот вы послушайте, как нас потрошат!

И рассказал.

Узнали власти Ваньку в городе и стали за ним приглядывать.

Ванька вошел в рабочую дружину, и не раз приходилось ему бывать в совете.

Однажды в коридоре встретил председателя военных депутатов, поручика Лохвицкого, обратился к нему с просьбой:

— Товарищ Лохвицкий, нам винтовки сегодня нужны.

— Какой я вам товарищ? Мы с вами товаром вместе не торговали. Я вам не товарищ! Что за дурацкая кличка!

В мае месяце Ванька, теперь окончательно Иван Лапшин, сел в тюрьму. Конечно, не сам, а посадили, за призыв к неповиновению военным властям.

И сидел долго, до конца октября 1917 года.

А в октябре произошла Октябрьская революция. Лапшина товарищи выпустили из тюрьмы.

С завода на фронт

Через три месяца Лапшин уходил со своими товарищами-красногвардейцами на фронт.

Также провожали их на пароходе.

С парохода смотрел Лапшин на молчаливую, серьезную толпу на пристани, видел черные, большие глаза и понимал, почему они сквозь слезы ему улыбаются.

Большие дела предстояли впереди.

А весной 19-го года Лапшин, начальник подразделения, попал в свой уезд и дошел до села Растопыровки.

Была она такая же сонная, как будто бури ее и не тронули.

Убавилось здорово народу: погиб на Красном фронте Кузька, увезли куда-то попа и учителя, расстреляли Матвея Ледяева, и умер Ванькин отец Михайла.

Рассказывали, что умер он с голоду.

Заболел чем-то, отнялся также язык, ухаживать некому, только кто-то ему сделал и принес большую соску из отрубей.

И Михайла перед смертью все эту сухую соску в рот ташил, да зубами ее стискивал, сосал.

Умер он в чужой хате, так как торговец, Степка Курашин, за долг, из избы его выгнал, а избу снес себе на амбар.

Собрал Лапшин сход.

На сходе рассказал, что на фронтах делается, как на них Деникин лезет, и что советской власти мужицкая помощь — хлеб нужен, а то опять Ольшанский барин вернется.

Молчат мужики, не глядят.

Припомнил им Ванька губернатора и порки, стрельбу по встречавшим.

Завозилась толпа. Туго мужик раскачивается.

Продрался вперед Степка Курашин, пуговички на поддевке светлые, стал речь держать:

— Кого мы, старички, слушаем?

Ваньку — осторожное отродье!

Где он доси был? По острогам за чужое добро сидел? Вор вором и останется. А теперь, вишь, большевик!

Все они такие, большевики-то.

На готовенькое — лакомы, сами хребет не гнули, рук не мяли.

— Стой! буда врать, Степка! — крикнул Лапшин. Так я, говоришь, руки не мял? белоручка? А ты руки мял, когда моего отца из хаты гнал?

И припомнил ему все его кулацкие проделки. Мотнулся Степка и смылся.

А мужики ничего: ловко он купца!

Пошебаршили, а хлеба дали.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Первые годы Ваньки	3
II. Свадьба	6
III. Великий пост	9
IV. Сельский праздник	12
V. Ванька на работе	15
VI. Сельская ярмарка	17
VII. Голод	21
VIII. Урожай	28
IX. Мужичий бунт	31
X. В школе	36
XI. Дома	40
XII. Попы — жеребьячья порода	43
XIII. Ваньку на сходку	47
XIV. Кулачный бой	50
XV. Ванька — батрак	53
XVI. Ванька в бегах	58
XVII. Ванька в тюрьме	62
XVIII. Ванька на войне	66
XIX. Ванька — большевик	70
XX. С завода на фронт	75

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“

Москва, Кузнецкий Мост, 13 ∞ Ленинград, пр. 25 Октября, 13

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Винниченко. Кузь и Грыцунь
Вольнов, Ив. Вася Пазухин

Его же. После смены
Дмитриев. Тиханка
Дорохов, Пав. Потоки

Дьяконов. Андрюшка сатана
Касаткин, Ив. В уезде

Короленко, Вл. Лес шумит
Мопассан, Г. Отец Симона

Неверов, А. Марья больше-
вичка

Салтыков (Щедрин). Былые
времена

Его же. История гор. Глупова

Тургенев, И. С. Рассказ по-
мещика Каратаева

Его же. Хорь и Калиныч

Чехов, Ант. П. Агафья

Его же. Мужики

Его же. Воры

Шишков, В. Судбище

Цена каждой книги 12 коп.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Москва, Лубянский Пассаж, № 25—30, Торгсектор Издатель-
ства «Земля и Фабрика» (Тел. 3-44-44)

Москва, Столешников пер., 5, магазин «Земля и Фабрика»
(Тел. 3-56-83)

Северо-Западное Отделение: Ленинград, пр. 25 Октября, 13
(Тел. 2-43-08)

Украинское Отделение: Харьков, Троицкий пер., 2.

Цена 50 коп.



Адрес Издательства:

Москва, Кузнецкий мост, 13. (Телефон 4-82-73)

Адрес магазина:

Москва, Столешников пер., 5. (Телефон 3-56-83)

**Отдел Книготорговли и Центральный Книжный
Склад:**

Москва, Лубянский пассаж, пом. 25—30. (Телеф. 2-31-78)

Библиотечный Отдел:

Москва, Лубянский пассаж, пом. 25—30. (Телеф. 344-44)

Северо-Западное Отделение:

Ленинград, Проспект 25-го Октября, 13.
(Тел.: 2-43-08, 1-54-52 и 95-99)

Украинское Отделение:

Харьков, Троицкий пер., 2.

Каталоги по требованию — бесплатно.